



Н. Н. ФИРСОВ

Победоносцев

Опыт характеристики по письмам *

I

Победоносцев прожил долгую жизнь. Родился он в 1827 году, умер в 1907 г., 80 лет жизни — это много. Кажется, сколько пользы можно было принести России в такой долгий период времени! Особенно, если вспомнить о тех, всем известных условиях, в которых протекала эта жизнь в зрелые годы и в старости... Но это только «кажется». На самом деле в тех условиях, в которые поставила судьба Победоносцева, люди редко приносили пользу, наоборот, — скорее приносили вред той стране, которую они пытались опекать, — и Победоносцев не был исключением.

Будучи школьным учителем двух царей — отца и сына, он был потом членом правительства этих царей и стремился продолжать свое учительство и в отношении государственного правления, но так, чтобы от этого второго учительства не старала, а преуспевала и укреплялась его карьера, столь счастливо сделанная. Какое же политическое учительство мог дать Победоносцев своим бывшим ученикам? Разумеется, такое, которое не противоречило бы положению этих учеников, ставших самодержавными монархами, которое, наоборот, вело бы к укреплению самодержавия и через то содействовало бы углублению влияния учителя на учеников, — влияния, охотно ими принимаемого уже потому, что оно несло с собой их собственные интересы и царские предрассудки, тесно связанные с детства же усвоенными царскими интересами. На почве служения тому и другому —

* Автор пользовался как изданными письмами (Победоносцев. Письма и записки. Петроград. 1923, т. 1–2), так и неизданными. Последние будут напечатаны в следующей книге «Былого».

и царским интересам, и царским предрассудкам — Победоносцев стремился укрепить свое собственное положение главного руководителя и вдохновителя правительственной политики. Иначе говоря, он действовал так, как и до него и после него действовали все карьеристы мира. Наибольший успех он имел при первом из своих учеников — при Александре III, получившем прародительский престол «из рук революции» (как ему писал из тюрьмы Желябов)* и потому, естественно, сильно почувствовавшем необходимость в противоядии. Таким противоядием революции, роковым образом ускорившей воцарение Александра Александровича, и явился в его глазах Победоносцев. Константин Петрович Победоносцев был годеи для этой роли. Свое собственное воспитание он закончил в школе Правоведения, в привилегированном учебном заведении, откуда обыкновенно выходили юристы охранительного направления, с большим позывом на блестящую карьеру и с малою разборчивостью в средствах для достижения своих, иногда и довольно темных, целей. Но, насколько известно, правоведы не блистали особою религиозностью и святошеством, а между тем Победоносцев как раз отличался именно этими свойствами, без них не было бы и Победоносцева, которого мы все знаем. Недаром впоследствии его единомышленник, но сердитый на него за какие-то подвохи, кн. Мещерский определил его как «человека, постоянно именем Божиим действующего и говорящего». Такую закваску Победоносцев, вероятно, получил раньше, до правоведения, может быть, даже еще в семье своего отца, магистра богословия, но, несомненно, он сам ее усилил много позднее правоведения, в ту пору, когда он счел себя главным пестуном российского самодержца. Верным историческим чутьем от понял, что самодержавие и богодержавие — неразрывно сросшиеся близнецы, при искусственном отделении которых друг от друга последует смерть для того и другого. А понимая, что второе положение (богодержавие) есть высшее идеологическое оправдание первого (самодержавия), он все силы своего ума направил на пропаганду своему бывшему ученику, унаследовавшему российский трон, — пропаганду благочестия в соединении с неукоснительностью карать и пресекать. С именем Божиим на тонких устах Победоносцев подталкивает Александра III посылать врагов самодержавия и богодержавия в тюрьмы, ссылку и на виселицу. И царь — при первом взгляде на эти отношения — заранее готов слушаться своего бывшего учителя, как мальчик, только что простившийся с

* *Победоносцев*. Письма и записки. Петроград, 1923 г., II, 796.

менторской указкой, но в сущности еще ненавыкший без нее обходиться.

Не оставляя и в зрелом возрасте следовать советам Победоносцева даже в выборе статей для поучительного чтения *, Александр Александрович ищет моральной поддержки от этого своего ментора на первых же порах своего царствования. Положение свое он считает очень трудным. «Молюсь и на одного бога надеюсь», — пишет он Победоносцеву. Но на самом деле, «одного бога» ему мало. Ему нужен еще Победоносцев, и новый царь усердно его зазывает к себе, усердно просит ему помочь и «облегчить» ему его «первые шаги» **.

Того не надо и просить. Он — «верный слуга царя и отечества», и советы доброго Константина Петровича, удачно угадывающего царские милости, сыплются Александру Александровичу, как из рога изобилия. И какие советы! Прежде всего, Победоносцев боится, что царем завладеют другие, которые не менее, чем он сам, бывший царский учитель, пожелают выступить и в роли политических менторов. «Все будут ждать в волнении, — пророчествует Победоносцев новому самодержцу, — в чем Ваша воля обозначится. Многие захотят завладеть ею и направить ее». И далее поучает: «Первые шаги Вашего царствования будут особенно знаменательны и требуют особой обдуманности и осмотрительности». Видимо, не надеясь на самостоятельное проявление Александром III этих свойств, услужливый ментор с искусственным пафосом беззаветно преданного царю слуги прибегает к мольбе, дабы не только самодержец осуществил свое самодержавие, но и остался бы благодарен советнику и вдохновителю. «Ради бога, — пишет последний первому, — в эти первые дни царствования, которые будут иметь для Вас решающее значение, не упустите ни одного случая заявлять свою личную решительную волю, прямо от Вас исходящую, чтобы все слышали и знали: «Я так хочу» или «Я не хочу этого». Никакая предосторожность не лишняя в эти минуты». Советы вразумительные и чрезвычайно популярно изложенные, как взрослому мальчику, только что вступившему в жизнь, но недостаточно еще понятливому. Победоносцев привык в отношении к Александру Александровичу к роли школьного учителя и, как многие школьные учителя, полагал, что он всегда может преподать своему бывшему ученику полезный совет, а то обстоятельство, что его

* Письма и записки, т. I, с. 3.

** Там же, с. 43–44.

бывший ученик сделался царем, лишь поддавало ему жару и поднимало его честолюбие, и он нимало не усомнился от руководства, напр., чтением своего питомца, перейти к политическому руководству. И Победоносцев сразу взял довольно властный тон политического ментора, как бы поставив себя неизмеримо выше по пониманию того, к кому он обращал свои советы, и при этом, по-видимому, остался при убеждении, что ответом ему будет лишь царская признательность, ибо, де, он стоит на страже только царских интересов. Ради них он на первых же порах прибегает к доносу. Но, зная, что в доносе необходимо на что-либо или на кого-либо опереться, он ссылается на «простых русских людей». Эти последние «простые русские люди», как увидим дальше, в представлениях Победоносцева всегда подтверждают любой его донос, благо проверять их не требуется и даже считается неприличным. «Простые русские люди» в качестве благородных «послухов», доказывающих справедливость доноса, это — своеобразное народничество Победоносцева. И он пишет в том же письме, в котором дает Александру советы твердости и неукоснительности: «Не я один тревожусь: эту тревогу разделяют со мной простые русские люди. Сегодня было уже у меня несколько простых людей, которые все говорят со страхом и ужасом о Мраморном дворце. Мысль эта вкоренилась в народ». Донос — не подлежащий сомнению, на дядюшку взошедшего на престол царя, но ссылка при этом на народ, только что перед тем фигурировавший в виде «простых русских людей», ссылка, значит, на низшие классы общества: не я, де, один Победоносцев, а и «народ» так думает, и народ боится, как бы не сделали какой-либо пакости из Мраморного дворца... Но и «народу» не надо давать потачки. «В настоящую минуту, — пишет ментор своему ученику, — необходимо было бы от имени Вашего обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоевластия»... Конституция едва ли не более утрашала Победоносцева, чем Мраморный дворец, и ментор из кожи лез, чтобы не допустить своего «самодержца» до «двоевластия». А между тем ему казалось, что этот «самодержец» как бы совсем исчезает, заволакиваясь гатчинским туманом, — и Победоносцев спешит вытащить царя из его добровольного уединения и показать «народу» «твердым» и на все готовым. «Вместе продолжаю, — продолжает свои полезные советы ментор, — думать, что Вашему величеству необходимо появиться в Петербурге. Постоянное безвыездное пребывание Ваше в Гатчине возбуждает в народе множество слухов самых невероятных, но тем не менее принимаемых на веру. Нынче из народа уже спрашивают, правда ли, что

государя нет уже на свете и это скрывают» *. Так Победоносцев подготовлял своего воспитанника к твердому самодержавному курсу, вероятно, полагая, что запугивание — один из вернейших путей к этому.

Победоносцев достиг цели: «конституция», хотя бы и Лорис-Меликовская, была смазана самодержавным манифестом, бившим для ее сторонников полною неожиданностью, последствием чего и явилась «перемена» правящих лиц, замена «диктатуры сердца» диктатурой победоносцевского ума. На некоторое время победа доноса обозначилась полная, и не удивительно, что с того заседания министров, с которого Победоносцеву пришлось поспешно уехать, «многие», по его собственным словам, от него стали «отворачиваться» и «не подавали ему руки», ибо им было ясно, что неожиданный манифест царя, написанный Победоносцевым, есть не что иное, как торжество его доноса на всякое проявление живых сил и стремлений жизни. Это было поистине «историческое» заседание. Главный герой чувствовал всю значительность его и с простотой, столь несвойственной ему в его печатных выступлениях, описал это «событие» на память для себя, а может быть, и для иных целей. «Рассуждали много, — рассказывает Победоносцев в этой интимной записке, — и все вертелось около учреждения конституционного». Очевидно, дело вперед не подвигалось: «ходили вокруг да около». Высочайшей особе, присутствовавшей на заседании, по-видимому, надоело это топтание на одном месте, тем более, что, вероятно, он, как и Победоносцев, был осведомлен о близком финале всех этих «вертевшихся» около конституции рассуждений. «В. кн. Владимир, — повествует Победоносцев, — в конце выразился, что надо отложить дело». С ним согласились и начали выходить. Тут-то и разорвалась бомба, несомненно долженствовавшая служить компенсацией той бомбе, которою разорвало подписавшего Лорис-Меликовскую конституцию Александра II¹. «Когда вышли, — рассказывает дальше Победоносцев, — Набоков заявил новость о манифесте и прочел». И продолжает: «Взрыв негодования. Абаза, выходя из себя, кричал: надо остановить, надо требовать, чтобы государь взял назад это нарушение контакта, в который он вошел с нами. Тут Лорис-Меликов остановил его. Тут Абаза с азартом сказал: кто это писал этот манифест? Я выступил и сказал: я. Минута драматическая». Так говорит Победоносцев. После того ему ничего не оставалось, как «поспешить уехать»: минута была слишком драматична, чтобы ему, как опытному

* Письма, т. I, 47.

лицедею, дольше оставаться на сцене: это — «минута» именно на эффектный уход с нее. То обстоятельство, что после подобных эффектов бывают другие, вроде отворачивания и нежелания знаться с таким лицедеем, не могло смущать Победоносцева: оно, по-видимому, считалось им лишним доказательством его верной службы своему питомцу-царю, почему он подчеркнул в своей записке и эти последствия «неожиданного пассажа» после заседания об «учреждении конституционном». Как истый бюрократ, полагавший, что «тут» делалась настоящая история страны, а не просто закончилась одна из успешно проведенных доносительных интриг, Победоносцев счел необходимым отметить в своей записи и самое место, где разыгралась рассказанная им комедия с «драматической минутой», похожей на водевильный финал, сразу разъясняющий все недоразумения и *qui pro quo*: «Все это, — заканчивает Победоносцев свое описание, — происходило на Фонтанке в кабинете Лорис-Меликова» *. Впрочем, это вполне точное занесение на память даже места достопамятного события, может быть, было нужно Победоносцеву для нового доноса своему воспитаннику. Ясно было — это сквозит и в приведенной записи, — что на первых порах нового царствования Победоносцев победил и просмаковал свою победу. И на посторонний взгляд не только тогда, но много спустя казалось, что бывший учитель Александра III сделался полновластным диктатором России. Но в действительности это было не совсем так.

II

Что конституция Лорис-Меликова и некоторых других прикнущивших к нему министров не состоялась под влиянием Победоносцева и Каткова, это — очень хорошо известно. Оба эти охранителя устоев прежней крепостной Руси зорко стояли на страже, причем московский публицист чрезвычайно ретиво исполнял взятые им на себя обязанности правительственного звонаря. Когда Лорис-Меликов, Абаза и даже Игнатьев вознамерились провести проект о губернских комитетах из выборных от крестьян (3) и от других сословий (4), итого из 7 членов, Катков ударил в набат, сейчас же написав письмо своему высокопоставленному собрату по доносам, — ибо боялся, что злокозненное предположение ненавистных ему министров застанет Победоносцева врасплох: «Это значит, — звонил Катков, донося о проно-

* ? с. 251, 1.

ханной им министерской крамоле, — просто-напросто насильно революционизировать страну» *. Но Победоносцева в таких случаях трудно было огорошить новостью; у него самого было чрезвычайно обостренное чутье и, как великолепная гончая, вытянув свою длинную шею и насторожив свои как-то странно оттопыренные уши, он едва ли не первый узнавал, откуда грозит опасность охраняемому им крепостническому самодержавию. В этом отношении он несомненно обладал большим талантом, был поистине победоносен, ибо в этом была его сила. Его воспитанник Александр III охотно пользовался этим талантом Победоносцева, подобно тому, как он пользовался другим талантом — писать невразумительно и невнятно, но напыщенно и елейно, что бывшему ученику казалось верхом глубокомыслия и оригинальности (и не ему одному)** . Но пользовался Александр III обоими талантами Победоносцева неспроста, а смекнув, что это пользование ему выгодно, и пользовался постольку, поскольку ему было выгодно.

В самом деле, нельзя представлять себе Александра III только послушным теленком. Этот, довольно ограниченный (как изображает его С. Ю. Витте¹, благоговевший перед его «царственностью») и даже несколько туповатый человек был себе на уме и обладал довольно крепким здравым смыслом — разумеется, в тесных пределах своего малоповоротливого, тяжелого ума, вполне гармонизировавшего со всею его физической и моральной личностью. При вступлении на престол Александр III был вполне законченным человеком. Общее мировоззрение и политические «убеждения» уже крепко залегли в его сознании, и было мало шансов на то, чтобы, сделавшись царем, он сразу стал поступать не в своем «духе», как-нибудь иным образом, не сходным тому «православию и самодержавию», которым проникнуто было и его общее мировоззрение, и его политические взгляды. На то не было ни внешних, ни внутренних условий. Катастрофа с отцом, с одной стороны устрашая, с другой — внушала мысль, что скорее всего, для спасения себя, надо действовать устрашением же; на такую мысль наталкивало и победоносцевское политическое воспитание, приводившее к убеждению, что власть царя, как и бога, должна быть грозной. Так думать было приятно Александру Александровичу-юноше, когда его учил почтенный профессор Константин Петрович, и «наследник» охотно ус-

* Ibid., 170.

** Даже бывшему народовольцу, ренегату Л. Тихомирову (Письма и записки).

воил такие взгляды, а впоследствии, смекнув, что они вполне подходят к его положению, разумеется, не склонен был изменять их; так царским бытием определялось царское сознание. Много ли после этого надо было сделать усилий Победоносцеву, чтобы убедить Александра III не вводить конституции, а к захваченным врагам самодержавия — отнестись беспощадно, как к злодеям? Ответ ясен. Очень немного, или, точнее говоря, никакого труда это не стоило ментору, ибо того, что он советовал, желал и сам Александр III: это были уже его собственные убеждения. Он даже думал, что они ему свойственны от природы, что такой уж он уродился. Природных свойств, конечно, игнорировать не приходится, ибо, помимо довольно мягкотелого, хотя и не доброго отца, позади него стоял крепкий волей и рассчитанно жестокий дед; но в данном случае человек не только родился с предрасположением к православно-самодержавному миропониманию, но успел и сродниться с таким миропониманием, как наиболее подходившем к его положению.

Поэтому, когда в 1883 году Победоносцев в письме своем к царю снова затянул свою обычную песню о пагубности конституции, то Александр III ответил ему в том смысле, что это и его собственные убеждения и что в сущности беспокоиться на его счет нет ни малейших оснований: «...не допущу, — заявил он, — этой лжи на святой Руси, в этом будьте уверены» *. Тем более ментор ломился, по-видимому, в открытую дверь, когда после 1-го марта 1881 года, ссылаясь на русских людей, на «всю землю», вопиал о необходимости смертной казни обреченным революционерам... «Уже, — писал Победоносцев, — распространяется между русскими людьми страх, что могут представить вашему величеству извращенные мысли и убедить вас к помилованию преступников. Может ли это случиться? Нет, нет и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы пред лицом всего народа русского, в такую минуту, простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем), требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется. Если бы это могло случиться, верьте мне, государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сердце всех ваших подданных» и пр.

Здесь ментор возвысился до пафоса. Он так же, как когда-то Иосиф Волоцкий², во имя православия требовавший казни для «жидовствующих»², устрашал самодержца богом, пред коим тот совершит тяжелейший грех, если помилует, и народом, которого

* Письма и записки, I, 302.

возмутит помилование, с тою только разницею, что новый воспитатель царей проповедовал во имя самодержавия, теократическую теорию коего разработал первый воспитатель царей в своем «Просветителе». Ясно, что Победоносцев слишком запоздал. Цари давно прониклись древней идеей благочестивого иосифлянства о спасительности для их положения (равно как и для «православной церкви») — смертной казни, и новый самодержец не был исключением, а потому он немедленно и ответил, начертав на том же победоносцевском письме следующие бесмертные и предназначенных царем к смерти строки: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет придти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь» *.

За «это» он, действительно, мог ручаться. Характер Александра III был именно таким. Он был далеко не мягкого нрава, и в этом отношении напоминал своего деда, Николая Павловича. Но мстительностью, которую проявлял гатчинский затворник в течение всего своего царствования, он походил не только на сурового и жестокого деда, но и на слезливого своего батюшку. Пощады Александр III не знал. Когда несколько позднее, после 2-го первого марта³, он прочитал письмо к нему убитой горем матери А. И. Ульянова, приговоренного к смертной казни, письмо проникновенное, трагическое содержание которого из камня выбило бы искру чувства, то «миротворец» разрешился лишь следующим замечанием, написанным им тут же, на самом письме: «чего же она смотрела раньше», и участь заранее осужденного высокодаровитого стойкого и возвышенно-настроенного юноши была окончательно решена.

Известны теперь также другие резолюции Александра III на докладах об арестованных революционерах, исполненные злобы и ненависти. Такого человека, как Александр III, не надо было учить мести, он сам дышал мезтью, и Победоносцев, проповедуя ему против милости, проявил излишек или наивности, или усердия не по разуму, как бы действуя на основании одной мудрой поговорки о каше, которую маслом не испортишь.

Антипод Победоносцеву, Л. Н. Толстой, обратившись к Александру III за милостью для «шестерых» народовольцев первого призыва, еще более оттенил противоположное усердие обер-прокурора святейшего синода, но и великий художник-моралист невольно этим своим предприятием доказал лишь то, что он был доброе, хорошее, хотя и старое дитя, тем более, что свое чистое

* Ibid., I, 47.

от предвзятых мыслей, истинно христианское письмо Лев Николаевич направил к царю через ловкие, но грязноватые руки Победоносцева; если бы Л. Н. Толстой точно мог себе представить отношение к его просьбе со стороны этого человека, постоянно шепчущего имя божие, но всей своей елейной душой стремящегося к виселицам для ближних, то он не стал бы надеяться на Победоносцева, как на своего пособника у царя в предложенном им обоим деле прощения и милосердия. Царский советник на письме Льва Николаевича к Александру III написал, презрительно подчеркивая всю нелепость толстовских желаний, — как бы, для вящего вразумления царя: «Он писал, что необходимо оставить злодеев без всякого преследования». «Не сумасбродство ли и не безумие ли это?» — хочет сказать ментор. Но Александра Александровича не надо было так вразумлять: он и сам прекрасно понимал всю утопичность толстовской просьбы.

Победоносцев нужен был ему не для такой поддержки, хотя новый царь не мог быть недоволен, что мнения Победоносцева сходятся с его собственными. Александр III сам иногда отмечал совпадение своих мнений с победоносцевскими — и это, по-видимому, было ему приятно, особенно когда эти мнения как нельзя лучше соответствовали его собственным интересам. «Это, правда, странно, как мы сходимся мыслью», написал Александр III Победоносцеву, имея в виду отданное им, царем, распоряжение о назначении своего брата Алексея на место подозреваемого в крамоле дядюшки, Константина Николаевича; царь только что сообщил о своем желании кому следует, как получил в этом же смысле доносительское письмо от Победоносцева: «сошлись мыслью».

Учителю нетрудно было угадывать мысли бывшего своего ученика. И он угадывал. К этому свелась его негласная профессия.

III

Влияние Победоносцева на Александра III преувеличено. Многое из того, что делалось как бы по указанию Победоносцева, в сущности было продуктом собственных желаний и интересов царя. Ему бывший учитель нужен был больше как исполнитель и выразитель (вроде древнерусского думного дьяка) его мысли и воли, чем как индикатор тех или других руководящих распоряжений, ибо Александр III, давно утвердившись на традиционной идейной платформе, как истый кулак, старался ис-

пользовать и тех своих слуг, которые к укреплению самодержавия шли иным, непобедоносцевским путем, но более соответствующим потребностям времени, игнорировать которые представлялось невозможным. Но как письменных дел мастер, как ученейший выразитель излюбленных царем общих воззрений и провозгласитель эффектных, но лживых, не подлежащих исполнению слов, Победоносцев очень импонировал своему полуграмотному бывшему ученику на российском троне. И Александр III систематически заказывал Победоносцеву манифесты, рескрипты и всякого рода официальные царские ответы в полном убеждении, что все это будет не обычно, не казенно, а проникновенно, высокоелейно и неуловимо, как праздничный колокольный звон... Так, напр., 20 февраля 1884 года Александр III просил Победоносцева составить для него ответ Москве: «Обыкновенно, — писал царь, — их пишет Танеев, но на этот раз надо ответить хорошо, и поэтому обращаюсь к Вам» *. Эти обращения проходят через все царствование Александра III и все с тем же мотивом: надо написать «хорошо», не по-танеевски.

И Победоносцев писал хорошо — по-победоносцевски. И рассуждал на общие темы не хуже. Александру III нравилось... Но бывало, что, вообще одобряя Победоносцева и подчеркивая свою солидарность с ним во мнениях, Александр III, по какому-то забавному недосмотру, преподносил ему не совсем лестные вещи. Однажды, в самом начале царствования, когда престиж Победоносцева стоял высоко и, пожалуй, вне конкурса, Александр III (27 апреля 1881 г.), посылая ему для прочтения письмо, только что им полученное из Парижа, и назвав это письмо «курьезным», прибавил: «Странно, что многие мысли совпадают с мыслями, проведенными в манифесте, Вами составленном». Мысли из «курьезного» письма не сделали ли манифест, составленный Победоносцевым, «курьезным»? Обсуждал ли автор манифеста этот вопрос, остается неизвестным, но несомненно одно, что нечаянно данную «учеником» пилюлю «учителю» пришлось проглотить.

Александр III, однако, по-своему ценил мнения Победоносцева, и притом не только те, которые имели в виду карать и устанавливать твердый кулак самодержавия, что ему самому казалось таким естественным и крайне полезным, но и те, в которых звучали слова о «народе», об единении царя с народом и т. п., заимствованные отчасти из московского славянофильства, а главным образом из официальной политической философии нико-

* Там же, полутом I, 301; II, 445, 931, 819.

лаевского царствования, снова возводившегося в перл создания. Мнения со звонкими словами были тем более приемлемы, что они, будучи подходящим орнаментом к основному требованию «ежовых рукавиц» и внушая всем мысль, что утверждается чисто русское, национальное направление в политике, в то же время ровно ни к чему не обязывали и не мешали «тащить и не пущать». В самом деле, на том совещании в самом начале царствования, когда Победоносцев громил подписанную Александром II так называемую «конституцию Лорис-Меликова» или, как выражается очевидец Валуев, «сказал невозможную речь, в которой назвал все предложенное и все европейское величайшей фальшью», он же, Победоносцев, говорил о «народе», о связи с народом, о единении царя с народом. Валуев называет все это «обычными фразами» и полагает, что Победоносцев, ораторствуя о народе, «подразумевал всегда так называемый черный»*, Александр III слушал «обычные фразы», вероятно, не без удовольствия, ибо они прекрасно соединялись с обычной, традиционной политикой самодержавия. Он понимал, что фразы о народе нелишняя орнаментировка всякой политической речи, всякого политического писания, регламентов и манифестов. Нравились, очевидно, они и его отцу, имевшему слабость, вслед за льстецами, считать себя «царем-освободителем».

Ему Победоносцев представил записку о внутреннем состоянии России некоего досужего дворянина Голохвостова, получив ее от автора, а в этой записке указывалось, как на якорь спасения, — на земский собор, на единение царя с народом, и утверждалось, что «миром да собором и черта поборем»**. Александру II записка понравилась. Это неудивительно, но дело в том, что к ней сочувственно отнеслись и Победоносцев, на имя которого она была адресована, и его бывший воспитанник, сам Александр III. Очевидно, все эти люди, начиная с автора, здесь под земским собором разумели не такой земский собор, о каком мечтали русские революционеры: известно, что и Нечаев, которому при его попытках говорить на суде зажимали рот, выводимый из залы судебного заседания успел все-таки прокричать: «Да здравствует земский собор!»***. Ясно, что земский собор Голохвостовых, Победоносцевых и Александров — простая «обыч-

* Щеголев П. Е. Из истории «конституционных» веяний в 1879—1881 гг. // Былое. 1906 г. № 10—12. С. 283.

** Ibid., I, 18—19.

*** Ковалевский. Русская революция в судебных процессах и мемуарах. Москва, 1923 г., с. 78 и 94.

ная фраза» без настоящего реального содержания, и в лучшем случае он рисовался им в виде тех проектировавшихся конституционных учреждений другого канцелярского преобразователя — Сперанского, которые только казались бы действующими, а на самом деле не действовали бы. Победоносцев, заклятый враг народопрямства, представил однако записку Голохвостова Александру II, против «конституционных» уступок которого он с таким неистовством потом выступал, когда того уже не было в живых, и сам продолжал в то же время лепетать фразы об единении царя с народом. Что это значит? Только одно, что Победоносцев прислуживаться готов был всякими способами, но в отношении собственного народа всегда был внутренне убежден, что ссылаться на него никогда не лишнее, благо он никогда этого не узнает, что это тот самый «козел отпущения», который примет на себя всякие обязательства, не получив никаких действительных прав, и что самое единение его с царем есть не что иное, как безгласное и полное повиновение царской воле. Победоносцев глубоко был убежден в том, что так в сущности думают и сами цари, что единственно желательная для них и приемлемая перспектива управления *именно в таком* «единении с народом». Александр III особенно крепко стоял на этой позиции, и записка Голохвостова лично для него не могла быть толчком к какой-либо коренной государственной реформе. Новый царь о таковой и не помышлял, а старый его пестун наставлял его лишь в том, что необходимо переменить некоторых правительственных лиц. Это тоже вполне совпадало с «предначертаниями» самого царя. Александр III возвратил Победоносцеву записку Голохвостова с земским собором и, как бы взамен ее, получил от своего бывшего учителя другую, составленную как будто бы не самим Победоносцевым, но, во всяком случае, по его подробным указаниям; эта записка заключала в себе едкую критику государственной деятельности Лорис-Меликова и действий полиции в момент первоапрельского события. Донос был составлен ловко, и Александр III, успевший уже войти во вкус этого рода заботы своего советника, поспешил сообщить ему о полной своей солидарности с ним во мнении о прочитанной записке: «Действительно, — писал ему Александр III, — много правды и здравого смысла» *. Но это чисто платоническая резолюция, ни на что не обязывающая ее автора, вроде другого его утверждения по поводу письма Рачинского о пагубности пьянства. «Действительно, — писал Александр III Победоносцеву, — кабак это гибель

* Письма и записки, I, 52.

России» *. Еще бы! Но приведенные утверждения не помешали царю содействовать спаиванию народа и спиться самому, хотя последнее, может быть, и не было губельно для России. Из всего сказанного ясно, что оба эти человека — Александр III и Победоносцев, — подходили друг к другу и потому считали себя необходимыми друг для друга, но неизмеримо больше был нужен Александр Александрович Константину Петровичу, чем наоборот, ибо бывший ученик Победоносцева уже выучился, сам хорошо знал, что ему делать и чего не делать, и только желал от бывшего своего учителя технической помощи и словесной поддержки, которую можно было принять и даже просмаковать, раз дело уже решено, или которую, с неменьшим удобством, можно было, поблагодарив за словоизлияние, отнести к «обычным», ни к чему не обязывающим «фразам».

IV

При так слагавшихся отношениях между царем и взысканным милостью подданным, последнему оказалось возможным выступить в качестве стража государственных и народных интересов, как эти интересы понимались ими обоими. Судя по переписке Победоносцева, как напечатанной раньше, так и помещаемой в следующей книжке «Былого» **, заботы и хлопоты этого «царского советника» о государстве и народе вертелись, главным образом, около трех вопросов жизни: 1) вопроса о личном составе правящей бюрократии, 2) вопроса о направлении общественного мнения и 3) вопроса о «народной нравственности». Победоносцев, подобно вообще всем людям его круга, был убежден, что высшие сановники, светские и духовные, — настоящие делатели истории, что именно от замены одного сановника другим зависит ход дел первостепенной государственной важности; отсюда интриганство в связи с проведением на тот или другой «пост» надлежащего, отвечающего выдвигаемым тенденциям лица приобретало в глазах правящих бюрократов значение самой серьезной государственной деятельности; царь был того же самого мнения: недаром Александр III, когда ему Победоносцев официально сообщил о смерти киевского митрополита Филофея, тут же на бумаге написал, очевидно, к сведению обер-прокурора

* Письма и записки, I, 313.

** Письма Победоносцева к гр. Н. П. Игнатьеву // Былое. 1924. № 27–28. С. 50–89.

святейшего синода: «Я интригую за Платона». Интрига — это та моральная среда, в которой Победоносцев чувствовал себя, как рыба в воде: он дышал интригой и прекрасно владел ее главнейшими вспомогательными орудиями — доносом и клеветой. Интрига питала его честолюбие. В начале царствования Александра III Победоносцев имел повод торжествовать: главные действующие лица правящей бюрократии конца предшествовавшего царствования были заменены другими, и Победоносцев несомненно приписывал эту замену своему влиянию. Как же было не торжествовать победы? Но и сам царь был не промах, он думал так же, как Победоносцев, и шел даже дальше его в понимании своей собственной выгоды, т.е. выгоды безудержного депотизма. 15-го мая 1882 г. Александр III сам указывал Победоносцеву, что министр внутренних дел Игнатъев «сбился с пути и не знает, как идти и куда идти». Граф Игнатъев был заменен другим графом — Д. Толстым. Путь шествия этого последнего министра обозначился перед царем настолько определенно, что никакие критические замечания Победоносцева не поколебали бы авторитета Д. Толстого, и смерть его явилась для Александра III «страшным ударом» *. Ценил этот царь и других деятелей того же типа, способных блюсти его царские интересы, и к числу таких людей принадлежал знаменитый своими передовицами Катков с компанией. Несомненно, эта охранительная газетная клика натравила Александра III на министра народного просвещения бар. Николаи, сторонника университетского устава 1863 г. Царю и самому претило все, что пахло реформами шестидесятых годов и, следовательно, «Мраморным дворцом». Бар. Николаи он почитал последователем бывшего министра народного просвещения Головина, «сего, — по выражению Александра Александровича, — злосчастливого гения и друга Константина Николаевича». «И я знаю из верных источников, — писал царь Победоносцеву, — что они оба работают и пихают Николаи итти против общих желаний правительства». Ясно, что у Александра III были и другие осведомители, кроме бывшего учителя по гражданскому праву и по всяческому бесправию. На основании других «верных» же «источников», царь намечал замену Николаи Деляновым, прося от Победоносцева лишь «ответа» на все эти «предположения» **. Само собой понятно, что Победоносцеву, к которому за помощью обратился и бар. Николаи, ничего не оставалось, как позолотить последнему пилюлю и в рескрипте

* Письма и записки, II, 900.

** Ibid., 240. Гатчина, 12 марта 1882 г.

оставляемому министру, заказанном, по обыкновению, царем своему негласному секретарю по составлению деликатных бумаг, Катков был недоволен рескриптом и в письме к Победоносцеву прочел ему строгую нотацию, ибо, по мнению этого охранителя, надо было просто выгнать, а если уже говорить что-либо выгоняемому, то обругать: это был мужчина, не понимавший высшей политики. Александр III, подписавший рескрипт, в этом отношении, очевидно, был согласен со своим елейным секретарем, ибо тоже полагал, что слова ни к чему не обязывают, что дело все-таки сделано: неподходящий министр удален и заменен подходящим; но устроено это было не по совету Победоносцева. Не всегда последнему приходилось быть правым в высших правительственных «предположениях». Бывало так, что он «предполагал», а царь и другие лица располагали, и осуществлялось иное «предположение». Выдвинута была кандидатура А. Ф. Кони на должность обер-прокурора Сената: Победоносцев высказался против этой кандидатуры — на том основании, что Кони, будучи председателем суда, «выказал крайнее бессилие», — во время процесса по делу Веры Засулич. Министр юстиции Набоков, настаивая на назначении Кони обер-прокурором, утешал Победоносцева тем, что правительство только выигрывает в данном случае: из несменяемого по должности председательствующего в суде Кони становится сменяемым, и его всегда будет можно уволить*. Успокоило ли это соображение Победоносцева, неизвестно; но только нежелательное ему назначение Кони состоялось. Очевидно, тут оказали свое действие иные «верные источники», работали иные силы, не менее, если не более, «полезные» «самодержцу».

Как истый ученый муж, Победоносцев специализировался на критике и на вытекающих из нее благих пожеланиях. Общая его платформа хорошо известна. Определенно высказывался он против судебной реформы 60-х годов, против самостоятельности, гласности и публичности суда; адвокатского сословия он не выносил и считал его опасным для государства, равно как и суд присяжных; но зато хотел бы в весьма полной мере воскресить прежний канцеляризм в суде**. Победоносцев в этом случае тоже в сущности выражал излюбленные мысли всех охранителей, в том числе и самого Александра III, но этот царский советник забывал одно маленькое обстоятельство: что жизнь, реальная подлинная жизнь, слишком далеко шагнула вперед от эпохи

* Ibid., II, 496 и 497.

** Ibid., II, 514.

Николая I, что в ней окрепли новые мощные интересы, выступившие на историческую сцену еще в ту эпоху и тогда уже вступившие в конфликт с крепостническими навыками, а теперь начавшие заявлять о себе весьма настойчиво, интересы быстро, не по дням, а по часам развивавшегося промышленного капитализма и буржуазии. Победоносцев же, упуская последнее из виду, воображал, что можно задержать в прежней силе «патриархальный» порядок прошлого, при коем могла бы всюю осуществлять излюбленная им «инерция» жизни, т. е. полный застой и безгласие.

То же самое было идеалом жизни и для Александра Александровича. Перед наступившим 1881-м годом он в своем дневнике просил у «господа» чтобы тот «даровал» в этом году «мир и тишину» и «чтобы», писал он, «наконец (подчеркнуто в подлиннике) можно было нам всем с дорогой Россией вздохнуть свободно и наконец пожить безмятежно» *.

Подобные же желания унаследовал и сын Александра III, столь на него непохожий Николай II, который на новый, 1903-й год, в дневнике просил у «господа» о даровании России, сверх «победоносного окончания войны» «прочный мир и тихое и безмолвное житие» **.

Эти люди тянулись к «безмятежному» покою и безмолвию страны, ибо только в такой психологической среде и могло существовать патримониальное самодержавие, но эпоха была иная, экономические ее условия были не те, которые господствовали в феодальную эпоху, из коей вышла эта форма власти, и потому понятно, что вся идеология такого самодержавия встала в резкое противоречие с самыми неотложными, насущными требованиями действительной жизни. Жизнь разъяснила в 1881 г. отцу, а в 1905 г. сыну, что «господь» не дает ни «безмятежной тишины», ни «безмолвного жития». Но ни тот, ни другой не усвоили этого жизненного урока, ибо оба они безнадежно были заражены микробом самодержавия, и эту их своего рода наследственную болезнь окружающие не только не лечили, а старались развить в них.

К числу таких потатчиков царской болезни, парализовавших в носителях ее самое необходимое для правителя свойство — предусмотрительность, и принадлежал Победоносцев. Он был только наиболее энергичный и настойчивый в услужливости истинным желаниям представителя самодержавной власти. И нередко он

* Дневник, 1880 г., 109.

** Дневник 1906 г. янв., тетрадь № 33, с. 66.

усердствовал не по разуму, не принимая вовсе в расчет интересов крепнувшей буржуазии, и тогда более эластичные и покладистые люди брали над ним верх, ибо они умели разъяснить самодержцу (да, в частности, Александр III и сам начал это смеять) пользы самодержавия в более широком масштабе — с поддержкой не только от земледельческого дворянства, но и со стороны крупной буржуазии. Так самую жизнь, новым соотношением производительных сил страны ограничивалось влияние Победоносцева на реальный ход дел, на создавшиеся служебные и всякие иные положения. Отсюда понятно, почему Победоносцев в своих письмах и записках большею частью ничем не доволен, на все брюзжит, все критикует с какой-то высшей церковно-моральной точки зрения и, презрительно негодуя, ханжит, ханжит без конца.

V

Русская периодическая печать вызывала в Победоносцеве резко отрицательное отношение. Когда Александр III отправился в Москву, то Победоносцев не замедлил написать министру внутренних дел графу Игнатьеву: «сделайте милость, не пускайте к нему там журналистов, кроме Каткова. Он один — достойный уважения и преданный разумный человек *. Все остальные сволочи или полоумные». Едва ли царь пожалел, что к нему не пускают журналистов, ибо русскую печать он оценивал так же, как и Победоносцев, и журналистов аттестовал тем же самым словом «сволочь», лишь называя ее «литературной» **.

Н. П. Игнатьев не удовлетворял ни царя, ни его ближайшего советника, и потому последний постоянно надоедал министру внутренних дел своими ворчливыми сетованиями на якобы его поблажки периодической печати. «Знаю, — писал он Игнатьеву, — знаю, что проповедую в пустыне, однако не могу все-таки умолчать. Ваше дело слушать или не слушать». В последних словах звучит явное раздражение на министра внутренних дел. Игнатьев не давал в своей деятельности того, чего хотелось бы Победоносцеву — полного улучшения печати. «Или мало еще

* Победоносцев, «старый приятель» Каткова, так ценил его, что не желал пускать этого «разумного и преданного» публициста в Государственный Совет, дабы «правительство» не потеряло в Каткове своего газетного «звонаря».

** Александр III в заботах о своем народе. Статья Р. Кантора в журн.: «Музей революции», стр. 58.

лжи и разврата, — продолжал скулить обер-прокурор святейшего синода, — распространяется у нас существующими журналами и газетами. И к чему, как не к усилению этого зла может послужить открытие новых. Ведь газета стала ныне одним из жидовских гешефтов, и нет безграмотного жиденка, который не мечтал бы о подобном предприятии». Министр же, от коего зависело осуществление или крушение газетно-издательских мечтаний «жиденка», разрешал новые газеты. Это прямо-таки убивало Победоносцева. «Между тем, — с нескрываемой горечью пишет он, — беспрестанно читаешь о разрешении новых газет. И сегодня (14 февраля 1882 г.) в Правительственном Вестнике их несколько». И Победоносцев указывал министру на Волынь, «гнездо жидов и поляков», где не следовало бы разрешать *политическую* и литературную газету Зифферману, потому что, по мнению Победоносцева, «явно, что это жид», указывал также не на «жида», но на Суворина, которому «вздумалось» издавать в Москве «Русское дело» и который, по мнению Победоносцева, создает там «новое гнездо либеральной лжи и сплетен».

С самого начала царствования Александра III Победоносцев напустился на периодическую печать. Еще в сентябре 1881 года он упрекал Игнатьева за разрешение им в Казани «какого-то “Волжско-Камского вестника”» (на самом деле «Волжского вестника» под редакцией проф. Н. П. Загоскина) и по этому поводу рассказал министру притчу о кудеснике, вызвавшем заклятием множество бесов из бездны, позабывшему формулу заклятия, не смогшем потому вернуть их в бездну и растерзанном «разъяренными бесами» (т. е. разнузданными органами периодической печати). Однако Игнатьева не устрасила притча, и он продолжал разрешать газеты. Было от чего Победоносцеву в отчаяние прийти! Приходилось поучать министра внутренних дел настоящей «благонамеренности», о чем свидетельствует ряд писем Победоносцева к Игнатьеву. Обер-прокурор святейшего синода всюду в печати вылавливает «неблагонамеренные речи», подчеркивает статейку и посылает министру внутренних дел, с выражением в письмах недоумения, «чем отличается язык этого фельетона», дозволенного цензурой, от языка прокламаций «Земли и Воли». «Голос» особенно не давал покоя Победоносцеву. «Взгляните, — пишет он Игнатьеву, — на сегодняшней номер, он весь наполнен возмутительными внушениями и иронией на правительство». Даже губернские комиссии бар. Николай с выборными из земств Победоносцев счел вдохновенными «Голосом» и другими газетами — «Краевским и К^о» и сейчас же забил в набат пред министром внутренних дел, прося его, как «верховного блюсти-

теля общественного спокойствия», донести об этом «точно из-под земли вскочившем» «деле» — государю. В газетах вся беда: «невозможно ничему положить доброго начала, покуда не будут обузданы газеты» (письмо в след. книжке «Былого»), поучает Победоносцев своего непредусмотрительного коллегу по управлению страной. Неудивительно, что поучаемый член «правительства» в конце концов обращался к придирчивому обер-прокурору за советом по редакции правительственного указа, и тут-то министру внутренних дел нагорало. Возвращая указ исправленным по своему разумению, Победоносцев мотивировал исправления своей заботой о достоинстве верховной власти в России и боязнию, как бы от неподходящих «фраз» не произошло объявление о падении этой власти: «ибо, — опять поучал Победоносцев Игнатьева, — говорить в таком акте об общественном служении, о единении власти с народом (а не народа с властью), это совсем новые фразы, которые коробят мысль в газетных статьях, но невозможны в указе: таким языком власть никогда не говорила еще в России» (27 августа 1881 г.).

Но Победоносцев забыл или не хотел в данном случае помнить, что подобные «фразы» он сам говорил в присутствии царя, и министр внутренних дел это слышал, в наивности, ему совершенно неприличной, приняв их за чистую монету. Ясно было, что это — плохой министр, и его надо было отставить, заменив более понятливым человеком. Гр. Д. Толстой гораздо ближе подходил к победоносцевским тенденциям. Этот прямо заявил ему: «почти вся наша пресса отвратительна» *. И готов был руководствоваться в цензурных делах советами Победоносцева. По крайней мере, он поинтересовался узнать мнение Победоносцева о том, можно ли пропустить в записках Санглена, печатавшихся в «Русской старине», «то место, где говорится о заговоре против Павла» **. Вообще создатель классической системы и сам бывший обер-прокурор святейшего синода не ударял лицом в грязь ни пред Александром III, ни пред Победоносцевым, и последний мог чувствовать лишь полное удовлетворение, когда министр внутренних дел показывал ему такую предусмотрительность даже в отношении «Русской Старины», дабы почтенная старушка как-нибудь нечаянно не ниспровергла «достоинство верховной власти» и не революционировала бы русское общество. Но другой, вновь поставленный министр, взявший под свою ферулу народное просвещение, столь близко соприкасавшееся в России с цер-

* Письма и записки, I, 265.

** Ibid., I, 264.

ковью и полицейским участком, кажется, еще более должен был удовлетворять Победоносцева, этот любезнейший и искательнейший И. Д. Делянов, прославившийся довольно скоро, как победоносный враг «кухаркиных детей». Этот сановник к тому же очень старался, чтобы понравиться столь взыскательному обер-прокурору святейшего синода. Дело понятное: народное просвещение у поклонника народной «инерции» было на зубке не менее, чем периодическая печать и вообще вся русская литература. «Учение — вот чума, вот язва здешних мест», так, по-видимому, думал бывший профессор Победоносцев и гордился тем, что, будучи близкостоявшим у трона сановником, он отвык и не любил бывать в университете даже тогда, когда его туда приглашали, т.е. на торжественном публичном акте, а министр внутренних дел его к тому и не поощрял; напротив даже, как это сделал еще Игнатъев, не советовал ему туда являться, ибо университет, вероятно, считался недостойным такой чести — «при нынешнем складе ума и направлении некоторых профессоров*». Очевидно, эти профессора распространяли «ложное образование», о котором Победоносцев вопиял Александру III 1-го марта 1887 года**, то образование, которое, по мнению этого угадчика и выразителя царских мнений, приводило учащихся к требованию *всего* от жизни и вырабатывало из них революционеров вроде А. И. Ульянова с товарищами. Удивительно ли после этого, что министр просвещения Делянов тоже был дурного мнения о влиянии просвещения на нравственность и потому называл курсисток и даже не «некоторых», а всех огулом «девками», причем вел им счет поштучно. Сообщая Победоносцеву о каком-то разогнанном собрании курсисток, министр просвещения для вящего удовлетворения требовательного обер-прокурора святейшего синода прибавил: «а было этих (?) девок штук до 200»***. Мнение министра просвещения о профессорах было не выше, чем мнение министра внутренних дел, а в 1887 году, после 1-го марта, стало гораздо ниже, и Делянов не отказал Победоносцеву в удовольствии узнать от него, министра народного просвещения, и следующее его суждение о русских профессорах: «профессора наши, — писал он 13 декабря (1887 г.) своему идейному патрону, — слишком ленивы, чтобы пользоваться свободой преподавания»****. Победоносцев был того же самого мнения — и даже еще худше-

* Письма и записки, I, 83.

** Письма и записки, II, 651 и 652.

*** Письма и записки, II, 589.

**** Ibid., II, 678.

го — о русских профессорах. Зато Делянов был очень хорошего мнения о Победоносцеве: «Вы, — писал он ему приблизительно тогда же (2 декабря 1887 г.), — один стоите на страже народной нравственности» *. И Победоносцев «стоял», хотя и не один: с ним был его «возлюбленный монарх».

VI

В глазах их обоих нравственность почти что отождествлялась с понятием политической и религиозной благонамеренности, была ее синонимом. Поэтому первая забота царя и его верного советника была проводить внутреннюю политику, характеризующуюся двумя словами: «осади назад!», — ту политику, в которой преуспел граф Д. Толстой и которую Александр III желал видеть продолженной в деятельности его преемника — Дурново. Составление рескрипта на его имя, по обыкновению, так как случай был не обычный, не «танеевский», было поручено мастеру церковно-государственного стиля — Победоносцеву, и царь внушал ему, что в рескрипте необходимо выразить царскую надежду на ведение дел «в том же духе, как вел министерство Толстой и в смысле... манифеста 29 апреля 1881 г.». Александр III находил это необходимым, «так как, — писал он Победоносцеву, — начинаются уже толки и шатания мыслей, и надо положить конец этому и поставить дело определенно и бесповоротно» **. Директива очень решительная, но тем приятнее она была Победоносцеву. И Константин Петрович действовал «определенно и бесповоротно», ибо он «стоял» на «страже нравственности», как и Александр Александрович, — задом к прогрессу.

Как же обер-прокурор охранял «нравственность»? Разными, — прежде всего более или менее полицейскими, способами. Так, когда он еще от первого министра внутренних дел в царствование Александра III получил совет не ездить на одно из университетских собраний, в которые Победоносцев «давно утратил веру и интерес», то он, поблагодарив министра за предупреждение, и с своей стороны дал ему благой совет: «известны, сказывают, — писал он Игнатьеву, — человек 8 зажигателей: для чего бы не припрятать их перед актом» (7 февр. 1882 г.). Победоносцеву все было известно, все ему «сказывали». Знал, напр., он всю подноготную о г-же Ламанской, муж которой находился за гра-

* Ibid., II, 677.

** Ibid., II, 900.

ницей, а сама она жила в гостинице, и Победоносцеву было «известно», что это — «женщина, способная на все». «Она и на бирже действовала, она ведет связь с г. Полонским и странюю». Все это сообщает Победоносцев в том же письме, в котором уведомил министра внутренних дел об университетских зажигателях и рекомендовал посадить их в тюрьму. Тут же, кстати, он советует Игнатьеву «обратить внимание» и на г-жу Ламанскую и за ней «присматривать». Сам он присматривал положительно за всем и за всеми, далеко выходя за пределы своих прямых обязанностей о должности обер-прокурора святейшего синода. Но — приходилось, так как он принял на себя тяжелейшую обязанность блюсти за «народною нравственностью», а сюда, в эту сферу, можно было притянуть все и всех. В самом деле, статьи охранного положения, крестьянский банк, представлявшийся Победоносцеву фальшивым учреждением, гулянья в Летнем саду с музыкой, совпадающие с церковной службой, неблагонамеренное постановление новгородского земского собрания, приезд в Одессу из-за границы актрисы Сарры Бернар, «католички из евреек», и происшедший в связи с этим там еврейский погром, распространяемые «слухи и сплетни», слух о том, что частные театры будут открыты постом и многое другое, вплоть до того печального для «народной нравственности» обстоятельства, что лицо, от которого зависели в Петербурге подобные разрешения, — «сам охотник по женской части» и потому «разрешит, что угодно», — все это привлекало к себе пристальное внимание Победоносцева, было ему хорошо известно, и со всеми этими указаниями, в интересах порядка, безмолвия и «народной нравственности», он надоедал министру внутренних дел (см. ниже напечатанные письма Победоносцева). «Осади назад!» — таков смысл всех указаний и советов Победоносцева, — смысл, но не самая манера, с какой давались эти указания и советы. Манеру он не мог перенять у своего верховного патрона: у Победоносцева не было для этого соответствующих внешних средств. Нет, не полицейским хриплым окриком, а тонким, елейно-гнусавым голосом пытался он остановить рвущуюся вперед жизнь; так и встает перед нами эта сухая костлявая фигура, бросающая длинную темную тень на все, что подозрительно высматривал чрез очки внимательный взгляд этого ненавистника живой жизни; так и кажется, что шевелятся от удовольствия его оттопыренные уши, когда они улавливают нечто, вредившее, по мнению их владельца, благочестию, или, что то же, «народной нравственности». «Прилично ли, — вопиял он к министру внутренних дел, — чтобы в то самое время, когда выносятся для поклонения св. крест с

печальными перезвонами» («вспоминаются страсти христовы»), — музыка с буфетами и лотереями привлекала толпу народную к общему соблазну?» (11 сент. 1881 г., см. ниже напечатанное письмо). Особенно внимательно Победоносцев следил за картинами с евангельскими сюжетами. Как прокурор святейшего синода, он, видимо, считал это своею священною обязанностью. Известная картина Ге: «Что есть истина?» привела Победоносцева в ярость, и он поспешил написать царю донос на художника, выставив свое негодование на его замечательное произведение как «всеобщее»: «не могу не доложить вашему и. в. о том всеобщем негодовании, которое возбуждает выставленная на передвижной выставке картина Ге: «Что есть истина?». Но как ни спешил обер-прокурор, царь уже составил свое мнение о картине и тут же начертал: «Картина отвратительная, напишите об этом Дурново, я думаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки» (6-го марта 1890 г.)*.

Согласен был Александр III с мнением Победоносцева и относительно драмы Л. Н. Толстого «Власть тьмы», что ее нельзя давать на сцене. «Сия (Эта?) драма тоже могла повредить «народной нравственности». Словом, желали «не пущать». Но Победоносцеву этого было мало, и не говоря о Л. Толстом, впоследствии отлученном от церкви, он дело о Ге направлял к тому, чтобы «тащить». Через каких-нибудь 2 года он пишет донос на новую картину Ге, которую Победоносцев, по-видимому, еще не видал, ибо он выражается так, что «будто бы» на ней «изображено» «и заплевывание Христа и Христос написан в самом отвратительном виде». Победоносцев не может «думать без негодования об этом художнике» и, кажется, в особенности потому, что тот поселился у Л. Н. Толстого «и пользуется его симпатиями», о чем обер-прокурор тоже не преминул донести царю. Но и в этом случае Победоносцев несколько запоздал с доносом, по крайней мере, касательно самой картины. Александр III написал: «Мне сказал брат Владимир, что он уже приказал убрать эту картину» (26 февраля 1892 г.)**. Следовательно, и лозунг «тащить» был уже осуществлен. Бдительный цензор был Победоносцев, но оказывались и другие, еще бдительнее. Однако, что только ни привлекало его внимания!.. Даже сущие пустяки, к тому же ни прямо, ни косвенно не относящиеся к его должности обер-прокурора святейшего синода. Заметил Победоносцев в продаже конверты и почтовую бумагу «отвратительного красного цвета» и сейчас

* Письма и записки, II, 934.

** Письма и записки, II, 962 и 963.

же донес на этот товар министру внутренних дел гр. Д. Толстому, послав ему и самый «образец» и сделав указание, как и что в нем рассмотреть: «Посмотрите на свет, — учил обер-прокурор министра, — водяной знак изображает красного петуха». В самом деле, — даже «красный петух»! — очевидно, государство в опасности. «Мне кажется, — делает практический вывод Победоносцев, — что это нововведение неспроста, и стоит обратить на него внимание» и далее производит небольшое историческое исследование как о «красной бумаге», так и о «красном петухе», напоминая исследователю не то Францию с ее революцией, не то русского «красного петуха», который однозначен со словом «пожар»; обе ассоциации представлений одинаково были неприятны, но поднятый вопрос оставался нерешенным.

VII

Если Победоносцев был так внимателен даже к мелочам, не имевшим никакого отношения к его должности, но опасным, по его мнению, для «народной нравственности», то все, так или иначе затрагивавшее интересы церкви, на страже которой, как служительницы самодержавия, он стоял в первую голову, — являлось предметом столь усиленных его забот, что он, как свидетельствуют пока неопубликованные письма к гр. Игнатьеву, считал необходимым искать и сочувствия, и содействия у министра внутренних дел, ибо обер-прокурор, по-видимому, был тоже «определенно и бесповоротно» убежден, что православная церковь, как насадительница «народной нравственности», может иметь успех в этой своей миссии лишь при энергичной поддержке полицейского участка. И вот Победоносцев доносит министру внутренних дел на пиетистов⁴, приехавшего в Петербург Л. Редстока и Пашкова, — «отродие Л. Редстока», а также на их последователей, или, по выражению Победоносцева, на «прочий кагал»: с пророчицей Софией Ивановною Нелидовой.

К Рогожским раскольникам⁵ обер-прокурор по должности был не менее непримирим, чем к пиетистам и сектантам. Узнав, что раскольники ходатайствуют «об отпечатании алтарей», Победоносцев взывал к министру внутренних дел: «Ради бога, не уступайте этому ходатайству ни в каком случае: в настоящих обстоятельствах это будет гибельный удар нашей церкви по всей России». Само собой, «народная нравственность» должна была бы пострадать тем более, что, по сведениям Победоносцева, просьбу раскольников поддерживал ненавистный «Голос», вознаме-

рившийся «окольными путями умиловить государя». Победоносцев столь был расстроен, что снизошел до скромной просьбы к министру, хотя и не совсем скромно мотивированной: «прошу вас, — писал он гр. Игнатьеву, — не сдавайтесь: тут честь правительства». И русского правительства оказывалась «честь» в таких случаях, когда на Российскую церковь, а следовательно, на «народную нравственность» надвигалась опасность от инаковерующих, от раскольников, от католических ксендзов (см. ниженапечатанные письма к гр. Игнатьеву) и от евреев. Умоляя министра внутренних дел «не сдаваться» на раскольничью просьбу, Победоносцев не преминул кстати упрекнуть Игнатьева за назначение в Кишинев лица «жидовского происхождения»: ведь Кишинев, поясняет министру обер-прокурор, «узел, так сказать, жидовского вопроса» (см. ниженапеч. письма). Церковь же православную и лиц, ей служащих, Победоносцев держал строго и потому, когда Дурново, рекомендованный ему «духовными лицами из Москвы» в качестве человека, способного издавать газету в интересах церкви, не оправдал его ожиданий, то Победоносцев в письме к гр. Игнатьеву не усомнился назвать Дурново «церковным дураком» (см. ниженапечатан. письмо).

Надо, однако, отдать справедливость Победоносцеву в том, что «народную нравственность» с самого начала царствования Александра III он стремился укреплять не только мерами строгости, но и поучениями; впрочем, в этом случае он искал сочувствия своему начинанию у представителя полицейской власти в стране. «Поучение народу», как он пишет гр. Игнатьеву, было им «задумано» «в виду бывших и ожидаемых беспорядков». «Поучение» это должно было быть «несомнительным», а для этого было необходимо, чтобы на нем «лежала явная, так сказать, печать или государя, или церкви». Для того, чтобы поучение имело полный авторитет, «оно, — по мнению Победоносцева, — должно идти от церкви, с благословения синода». Вот «поучение» — целое послание! Получше, пожалуй, послания апостола Павла к разным народам. Но сам Победоносцев был в этом случае не честолюбив и не пожелал разыграть роль знаменитого распространителя христианства. Он «заказал» поучение другому лицу — «одному духовному приятелю в Москве». «Духовный приятель» постарался, и Победоносцев исполнением «заказа» остался «весьма доволен». «Надеюсь, — писал он, — уговорить своих иерархов, если можно представить им, что согласно с волею правительства». Считая, однако, все предприятие с «поучением» «делом общим», Победоносцев послал «тетрадку» министру внутренних дел, прося «прочесть» ее и сделать, если най-

дет нужным, «замечания». Не из святейшего синода, а из полицейского участка обер-прокурор ждал «замечаний» в первую голову: о мнении «своих иерархов» он особенно не беспокоился — их можно было «уговорить». Пока же Победоносцев соблюдал строгую конспирацию и желал окончательно проредактировать послание лишь с министром внутренних дел, которого он и просил «прочсть тетрадку» «про себя» и «никому ее не показывать» во избежание «сплетен».

Так Победоносцев действовал «христианским» способом. Но этот «православный христианин» из схоластических ученых, шагу не ступавший без ссылки на бога, был беспощаден к революционерам и не желал обращаться к ним ни с каким словом примирения. Правда, когда гр. Игнатъев показал ему проект призыва эмигрантов в Россию и прощения их, если они вернуться в Россию раскаявшись, то Победоносцев, испугавшись этой бумаги, поспешил набросать «образец» *своей* «редакции объявления» и представил его министру внутренних дел, но сам он был решительно против этой «меры», как «фальшивой, вредной и опасной».

«Далеко, — убеждал он гр. Игнатъева, — не настало еще время для призыва к прощению». И он полагал, что на их прокурорской и министерской «совести» «будет лежать тяжелое бремя», если они теперь станут «предлагать эту меру государю». «На такой призыв, — указывал он дальше, — откликнутся почти все враги, с притворным раскаянием, с тем, чтобы вернуться в Россию и здесь под прикрытием амнистии совершать преступные замыслы». «Вспомните, — взывал обер-прокурор, — кто были до сих пор преступники и злодеи. Все помилованные и отпущенные от прежних следствий»... И он, как маньяк своей идеи, упрямо твердил: «один только путь — твердость правительства!» «Покуда», осенью 1881 года, он еще не видел этой «твердости», но надеялся на нее, — и в своих надеждах не обманулся. Александр III менее всего был способен прощать, но более всего — «тащить и не пущать». Не много надо было иметь настойчивости, чтобы убедить его в необходимости «твердого курса» внутренней политики. Этот царь доказал своим тринадцатилетним царствованием, что он не считался ни с какими «стремлениями», говоря словами Победоносцева, «фальшивой интеллигенции» и не «боялся показать прямо и решительно, чего он хочет и чего не допускает» (см. письмо). Хотел он полного торжества самодержавия и не допускал ни малейшего посягновения на него. Того же самого хотел Победоносцева и ему подобные, сменившие Лорис-Меликова, Игнатъева и других, ибо

этот христианнейший обер-прокурор и его компаньоны, занявшие рядом с ним правительственную позицию, хорошо понимали, что прицепившись к царскому самодержавию, и они «определенно и бесповоротно» пойдут к своим собственным выгодам. Ту же позицию «определенно и бесповоротно» занимал Победоносцев и при Николае II — до самой своей смерти.

VIII

Что же вышло из всей этой хлопотни о самодержавии, о православной церкви и «народной нравственности» как путях к утверждению все того же общественного «безмолвия» пред властью? В конце концов, для той цели, какую поставил Победоносцев всей правительственной работе, *ничего*: «безмолвия» не состоялось, последовал взрыв, — и многовекового самодержавия с его церковной, бюрократической и классово-опорой как не бывало! Счастье Александра III и его наушника и единомышленника Победоносцева, что они не дожили до этого взрыва, уничтожившего самодержавие и классовое насилие над народом, о душе коего так много пеклись. Но это обстоятельство не освобождает их от общей исторической оценки. И оценка эта волей или неволей получается сама собой не в их пользу, особенно далеко не в пользу Победоносцева, ибо ведь он же явился непримиримым идеологом крепостнического самодержавия, а у его коронованного патрона было лишь чисто стихийное ощущение власти царя — всем его «нутром». Приходится сказать, что Победоносцев, этот бывший профессор, ученый цивилист, богослов, политик, напыщенно-елейный стилист, не обладал глубоким и проницательным умом, если с таким упорством настаивал на своей вере в «инерцию», долженствовавшую, по его разумению, спасти и сохранить все «устой». Эта вера, может быть, более в нем искренняя, чем вера в постоянно упоминаемого и призываемого бога, сыграла с ним плохую шутку. Он не понимал, что инерция господствует в народных массах до первого мощного толчка; когда же толчок дан жизнью, они двинутся и уже не остановятся и снесут со своего пути все, что мешало им жить. Заклятый враг живой жизни, он шел против нее с закрытыми глазами, как слепой (слепец), воображая, что он с своим самодержцем и всем правительственным аппаратом сильнее ее. Он не понял даже того, что, как ни приятны были Александру III все его указания и доносы на жизнь, но даже и этот тяжеловесный и прямолинейный человек, при всем своим кулачском от-

ношении к русской общественности, не всегда оставался последовательным в своих запрещениях («не пущать»), а снисходил к более практичным, хоть сколько-нибудь считавшихся с назревавшими потребностями буржуазии, указаниями других министров, и тогда Победоносцев чувствовал себя вещавшим «в пустыне». Когда Победоносцев открывал глаза, то он смотрел только в одну сторону, и видел только одно — неблагонадежность и попрание «народной нравственности». Это было не очень остроумно. Но для столь же или еще более ограниченных людей такая изоциренность «беспокойного взгляда» была заразительна. И когда, например, Александра Федоровна Романова в своих письмах (и, вероятно, устно) много раз внушала своему мужу, что он «самодержец» и «помазаник божий», что он — «все» — и должен поступать, как «властелин», быстро, строго и твердо*, что она, зараженная тою же самодержавною болезнью, вела в сущности себя по-победоносцевски, с тою только разницей, что ей пришлось на судьбе своей, мужа и всей семьи убедиться «определенно и бесповоротно» в великой ограниченности одного из самых авторитетных и самых упорных сторонников самодержавной идеологии. Таков был Победоносцев, сыгравший в последнем счете для «обожасмой» им Романовской династии (не говоря уже, разумеется, о «народе» и даже «обществе») частью бесполезную, но большею частью вредную роль какого-то политического мажняка «ханжеского образа».

*21 марта 1924 г.
Ленинград*



* Переписка Николая и Александры Романовых, 224, 306, 336, 340, 355.